

DOI: 10.15393/j9.art.2019.6322

УДК 821.161.1.09“18”

В. А. Викторovich*Государственный социально-гуманитарный университет
(Коломна, Российская Федерация)*

VA_Viktorovich@mail.ru

«Медный всадник» в творчестве Ф. М. Достоевского

Аннотация. В статье выявляются отзвуки поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» в творчестве Ф. М. Достоевского. В «петербургской поэме» «Двойник» парафраз ощущается в хронотопе (ноябрь, Петербург, тротуарная тумба), в угрозе наводнения и явлении сверхличного могущества, которое у Достоевского персонифицируется, вместо статуи, в двойнике. Подобно пушкинскому Евгению, Голядкин бросает вызов гнетущей силе и переживает катастрофу безумия. В отличие от Пушкина, у Достоевского деструкция исходит как от враждебного мира, так и от амбициозной личности героя. Достоевский прочитал пушкинский шедевр как экзистенциальный сюжет о богооставленности человека, усомнившегося в прочности мирового бытия. Этот мотив заявлен уже в «Бедных людях», а затем получает развитие, кроме «Двойника», в «Господине Прохарчине», «Слабом сердце», где к катастрофе ведет неуверенность и страх жизни. Рассматривается метафизический смысл так называемого «видения на Неве», переходящего у Достоевского из произведения в произведение. Кроме названных, это также «Петербургские сновидения в стихах и прозе», «Преступление и наказание», «Подросток». Петербургский текст Достоевского формируется в виду «Медного всадника» на грани символика, связующей с темой библейского Иова, и фантазмагории города-призрака. Поэма о Петре и Евгении стала частью пушкинского кода русской литературы, получив возможность наращивать смысловой потенциал в последующих эпохах. Так, Достоевский открывает в прототексте всё новые и новые ресурсы, реализуя их в собственных произведениях. Тем самым подтверждается гипотеза А. Л. Бема—С. Г. Бочарова о существовании генетической памяти литературы.

Ключевые слова: Пушкин, «Медный всадник», Достоевский, генезис творчества, богооставленность, метафизика петербургского текста

Об авторе: *Викторovich Владимир Александрович* — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, Государственный социально-гуманитарный университет (ул. Зеленая, 30, г. Коломна, Российская Федерация, 140410)

Дата поступления: 14.03.2019

Дата публикации: 18.10.2019

Для цитирования: Викторovich В. А. «Медный всадник» в творчестве Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — 2019. — Т. 17. — № 4. — С. 107–122. DOI: 10.15393/j9.art.2019.6322

В «петербургской поэме» Достоевского «Двойник» эпизод явления фантомного двойника сопровождается одним неявным намеком: «Какая-то далекая, давно уж забытая идея, — воспоминание о каком-то давно случившемся обстоятельстве, — пришла теперь ему в голову...»¹. Автор возбуждает интертекстуальную память читателя и опирается на нее. «Обстоятельство» вспоминается непосредственно после встречи с собачонкой, что «увязалась за господином Голядкиным <...>, по временам робко и понятиливо на него поглядывая» (ДЗ0; 1: 142). Собачонка исчезнет, а на ее месте появится двойник. Так за реальностью петербургского приключения проступает ирреальность мифа: дьявол являлся впервые Фаусту (оставленному Богом) в виде черного пуделя (см.: [Захаров, 1985: 78–79]). Мифологическое пространство многослойно: в одном архетипе (Яков Голядкин — библейский Иаков (см.: [Захаров, 1990: 100]) просвечивает другой (Фауст), а следом за ними спешит появиться третий, уже из петербургского интертекста (см.: [Михновец]).

Еще один намек прочитывается в контексте обстоятельств, окружающих «точку безумия» г-на Голядкина. Пушечный выстрел предупреждает петербуржцев о надвигающейся страшной опасности, сопряженной с жизнью в этом городе. И только услышав выстрел, господин Голядкин подумал: «...не будет ли наводнения?» (ДЗ0; 1: 140), — как показался ему навстречу прохожий. Вместо ожидаемого страшного потопа опасность персонифицируется в знакомом незнакомце, то исчезающем в «снежной метелице», то шумом своих шагов, «сквозь завывание ветра и шум непогоды», наводящем на Голядкина ужас: у героя «задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабли, и он со стоном присел на тротуарную тумбочку. <...> долго ли именно он сидел на тротуарном столбу, — не могу сказать, но только, наконец маленько очнувшись, он вдруг пустился бежать без оглядки, что силы в нем было; дух его занимался...» (ДЗ0; 1: 141–142). Подробности,

сопровождающие явление двойника, — явственный парафраз на тему «Медного всадника». Только «тротуарный столб» заменил мраморного льва, верхом на котором сидел Евгений. Голядкин «пустился бежать без оглядки» — опять же, как пушкинский герой: «Евгений / Стремглав, не помня ничего, / Изнемогая от мучений, / Бежит туда, где ждет его / Судьба с неведомым известьем, / Как с запечатанным письмом»². Можно добавить сюда же наблюдение, сделанное Г. А. Федоровым: Голядкин в сцене раздвоения пробегает по Аничковому мосту мимо бронзовых фигур близнецов-укротителей вздыбленного коня, «соперников» Фальконетова монумента [Федоров: 203–205]. На пушкинскую поэму отзывается и хронотоп «поэмы» Достоевского: «Ночь была ужасная, ноябрьская» — со «всеми дарами *петербургского ноября*» — «снег, дождь и всё то, чему даже имени не бывает, когда разыгрывается вьюга и хмара под *петербургским ноябрьским небом*», — трижды на одной странице повторяет автор, как будто на что-то настойчиво намекает (курсив мой. — В. В.) (ДЗ0; 1: 138). Напомню зачин первой части «Медного всадника»: «Над омраченным Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом» (12)³.

«Лихорадочный трепет пробежал по жилам его» (ДЗ0; 1: 140) — говорится о состоянии Голядкина, утратившего навсегда Клару Олсуфьевну и натолкнувшегося на таинственно-враждебную силу. «По сердцу пламень пробежал, / Вскипела кровь» — 22, — сказано о бедном Евгении в сходных обстоятельствах. Тень Медного всадника еще и раньше падала на господина Голядкина, когда он строил «план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызущую прах в презрении бессилия» (ДЗ0; 1: 168)⁴, то есть как бы примеряя на себя бронзовую тогу победительного Всадника (не случайно же он Яков ПЕТРОВИЧ и он тоже над «бездной» — ДЗ0; 1: 142). Подобных мыслей не знал Евгений, желавший лишь занять *свое место*, доставшееся ему, униженному потомку славного рода. Кроткий пушкинский герой, с малыми оговорками смиренно принимавший судьбу, ударом ее был подвигнут на протест. Господин Голядкин вынашивает бунт, изначально не соглашаясь на скромную роль, отведенную ему судьбою. Если Евгений — Иов (см. об этом: [Тархов], [Немировский]),

то Голядкин — Иаков. Поэтому и наказаны они различно: Евгения преследует грозный рок, сверхличная сила, принявшая образ тяжело-звонко скачущего Всадника Медного, а к Голядкину «человечек <...> спешил, частил, торопился» (Д30; 1: 141) — ОН САМ, его второе Я (см. фонетическую игру с именем героя: «Я... Я... Яков Петровичем <...> Я, Яков Петрович <...> Яков Петрович. Я... Я человек здесь затерянный, Яков Петрович...» (Д30; 1: 154–155)). Если в пушкинской «петербургской повести», хотя в стихах, некая внешняя сила — государство ли, природная ли стихия — гнетет человека, то в «петербургской поэме», хотя и в прозе, Достоевского агрессия исходит как извне, так и изнутри человека (встречные потоки!), так что личность в ее амбициозных претензиях не на равенство даже, а на «первенство» (см.: Д30; 1: 185) начинает с того, что вытесняет самое себя из отведенного ей пространства, как в евангельской притче о званых на брачный пир: «...всякий возвышающий сам себя унижен будет...» (Лк. 14:11). Конфуз, случившийся на пиру (почти брачном) у Олсуфия Ивановича, был «запрограммирован» еще в той давней притче. Во всем этом, быть может, и заключалось эпохальное значение «Двойника» (поначалу автор ставил его выше горячо ценимых «Мертвых душ»), а точнее, его идеи, о которой Достоевский и тридцать лет спустя говорил, что «серьезнее <...> никогда ничего в литературе не проводил» (Д30; 26: 65). Деструкция исходит в «Двойнике» как от среды и «вытесняющих» обстоятельств [Евнин: 12], так и, еще более, от самой личности, превышающей свои права и полномочия, от «амбиции» и порождаемого ею «экзистенциального одиночества» [Дрыжакова: 47].

У Гете Бог оставляет Фауста и отдает его в руки Мефистофелю, надеясь на духовную силу человека, заключенную в его разуме. В Библии Бог отдает Иова во власть сатане, полагаясь на спасительность веры. В «Медном всаднике» Евгений оставлен высшим покровительством и отдан во власть равно враждебных ему стихий и «воли роковой». Тема оставленности бедного героя (и разум, и вера его покидают) намечается уже

в начале первой части поэмы в грустных размышлениях, «Что мог бы Бог ему прибавить / Ума и денег» (13). В черновой рукописи Пушкин написал сначала «царь», но зачеркнул и заменил на «Бог» (37); замена земной иерархии на универсальную вела к наращиванию экзистенциальной глубины сюжета. В конце первой части герой теряет самый смысл существования (что в «Медном всаднике» заметил Андрей Платонов: «...человек уничтожается вместе со своей любовью» [Платонов: 14]):

«Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?» (16).

Как символ пустоты, одиночества человека на земле, «образен к нему спиною <...> Кумир на бронзовом коне» (16) (вариант для цензуры: «Седок» — 78). Во второй части мотив разбивается на множество мелких осколков: здесь и народ с его «бесчувствием холодным» (19), и сравнение реки с «челобитчиком у дверей / Ему не внемлющих судей» (20), и жалкие обиды безумного скитальца, повторяющие обиды Иова: «Злые дети / Бросали камни вслед ему» (20) и т. д. В финале поэмы острое чувство оставленности перерастает в манию преследования на грани психиатрии и мистики.

Библейская интертекстуальность «Медного всадника» (во вступлении акт создания Петербурга уподоблен акту сотворения мира [Анциферов: 67], [Лескис: 432–433], в первой части несомненна аллюзия Всемирного потопа — «Божия гнева» и «казни», во второй — поэтически концентрированная ситуация Иова) обращает смысл поэмы от исторического, социального и психологического уровней к метафизическому. Так и в «Двойнике» социально-антропологическая проблема, увиденная Добролюбовым («Забитые люди»), была только поверхностным слоем проблемы метафизической.

Достоевскому приписывалась крылатая фраза «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» (последняя атрибутивная версия: [Долинин]), сделавшаяся весьма репродуктивной. Если вспомнить, что самая «Шинель» как описание фантастического бунта «маленького человека», всеми оставленного, хронологически следует за «Медным всадником», то право

первородства в русской литературе необходимо толковать в уточненной редакции, предложенной А. Блоком: «*Медный всадник*», — *все мы находимся в вибрациях его меди*» [Блок: 169].

Пушкинское горькое вопрошание о человеческой жизни найдет у Достоевского новый отзвук в последующих произведениях: «Господин Прохарчин», «Слабое сердце». Их герои относительно благополучны и... несчастны. Для того чтобы низвергнуться в бездну, им не нужно даже удара судьбы, достаточно одной угрозы такого удара, прошедшей через увеличительное стекло «нравственной мнительности» [Миллер: 117], «страха жизни» [Анненский: 31]. Одна только неуверенность в прочности человеческого бытия, оставленного Богом, способна погубить «слабых сердцем» героев Достоевского.

«Слабое сердце» — пролегомены ко всему последующему творчеству Достоевского, и особенно финальная часть повести: описание таинственного «видения на Неве», посетившего Аркадия Ивановича. Об этом эпизоде написано много, попытаемся и мы приблизиться к его смыслу, имея в виду двойкие — библейские и пушкинские — корни символизма Достоевского. Аркадий, потрясенный «химическим несчастием» друга, возвращается домой по Николаевскому (Дворцовому) мосту:

«Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искуритя паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он

побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту...» (ДЗ0; 2: 48).

Прозрение героя Достоевского сродни прозрению бедного Евгения, петербургского Иова. Великий город, «отрада сильных мира сего», не принадлежит ему, для него он пуст, прекрасный и холодный, всего лишь греза, как, впрочем, и «весь этот мир» (ср. в «Медном всаднике»: «И жизнь ничто, как сон пустой, / Насмешка неба над землей?» — 16). Весь пейзаж в целом выражает одиночество и оставленность человека в холодном, угрюмо враждебном мире.

Стоит вернуться назад, чтобы увидеть начало мотива еще в первом романе Достоевского:

«...случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымит, кипит, гремит, — тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь!» (ДЗ0; 1: 88).

Метафизический смысл «Медного всадника», поразивший Достоевского еще в сороковые годы, останется лейтмотивом его творчества после возвращения с каторги. Он вспомнит о нем в автоконцептуальных «Петербургских сновидениях в стихах и прозе». В этот фельетон Достоевский перенесет из «Слабого сердца» почти дословно всё описание фантастической грезы Аркадия — кажется, единственный случай удвоения текста в творчестве Достоевского. «Странную мысль» Аркадия (изначально пушкинскую, пришедшую впервые бедному Евгению) автор фельетона переписет на себя (ДЗ0; 19: 69). Фельетонист-визионер «Петербургских сновидений» пройдет тем же путем Иова, что и Аркадий, путем прозрения неустойчивости человеческого бытия, предоставленного самому себе. Плод познания в одном случае («Слабое сердце») приносит неизбывную горечь, а в другом («Петербургские сновидения») пробуждает к жизни художника-тайноведа. Достоевский приоткрывает здесь, возможно, самый сокровенный источник своего творчества: его гений был пробужден состраданием к человеку, оставленному Богом.

Мотив «Медного всадника» (видение Евгения) отзывается и в «Петербургских сновидениях», когда рассказчик повествует о чиновнике, возомнившем себя Гарибальди, но вдруг испугавшемся собственного бунта... Далее в фельетоне как будто продолжается пушкинский перечень несчастий помешавшегося Евгения, всеми оставленного и гонимого:

«...ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь Божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его» (ДЗ0; 19: 72).

Оставленность человека приобретает в этом последнем описании, отчасти созвучном финалу гоголевских «Записок сумасшедшего», глобальный космический смысл: Божий мир оставляет несчастное свое создание, извергнув из своего лона как нечто никчемное. Пушкин в «Медном всаднике» ставит на этом точку. Достоевский продолжит далее.

«Видение на Неве» в третий раз явится в «Преступлении и наказании», во второй части романа, после «пробы» с Разумихиным. Задумав идти к другу «после того», Раскольников как бы испытывает себя, желая экспериментально доказать, что преступление ничего в принципе не изменило в его жизни и он так же, как прежде, может спокойно и уверенно смотреть людям в глаза. Эксперимент доказывает обратное: преступник не способен «сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» (ДЗ0; 6: 88). Он возвращается домой и проходит по знакомому уже нам Николаевскому мосту, вдруг настигнутый «неприятным случаем»:

«Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски, за то что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то что кучер раза три или четыре ему кричал» (ДЗ0; 6: 89).

Знакомый отголосок «Медного всадника» («Нередко кучерские плети / Его стегали, потому / Что он не разбирал дороги...» — 20) далеко здесь не случаен, ибо сразу после этого

Раскольникову предстоит пережить нечто похожее на видение пушкинского героя — его настигает одно давнее воспоминание:

«...случалось ему, может быть раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина...» (ДЗ0; 6: 90).

Повторяются и усиливаются знакомые черты: доньше «великолепная панорама» Петербурга (Зимний дворец — Адмиралтейство — Исаакиевский собор — Медный Всадник — ансамбль Синода и Сената) и вместе с тем холод молчания, «дух немой и глухой». Маленький на этом величественном фоне человек теряется, исчезает, ощущает себя ненужным (далее: «Казалось, он улетал куда-то вверх» (ДЗ0; 6: 90) — ср. в «Слабом сердце»: вверх улетучивался сам город). Ничто, как ему кажется, не говорит с ним, и он сам ни с чем и ни с кем говорить не желает (потому и улетаёт — он сам). Следующий жест Раскольникова в высшей степени символичен: он швыряет в Неву поданную ему милостыню, этот, по христианским представлениям, знак завещанной Богом любви, теплоты мира: «Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» (ДЗ0; 6: 90).

Еще одна подробность, новая в этом варианте «видения на Неве», едва намеченная в «Слабом сердце» (Лиза, плачущая на церковной паперти), но идущая, возможно, еще от истоков мотива Иова в самом первом романе Достоевского (Девушкин, проходящий мимо церкви). Собственно, с этой подробности начинается описание видения:

«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение» (ДЗ0; 6: 89–90).

Природа (небо — Нева) и Божий храм включены в представлении героя в общую картину холодного безучастия. Раскольников имеет возможность разглядеть украшения Исаакиевского собора, но он не видит, не ощущает в монументальном великолепии теплоты и участия. Он не видит и не слышит Того, Кого в романе дано видеть и слышать Соне. «Что ж бы я без Бога-то была?» — это ее признание Раскольников не может объяснить иначе как «помешательством» (Д30; 6: 248), он слишком уверен во всеобщности испытываемого им одиночества богооставленности. Нужна неиссякаемая энергия любви и веры Сонечки, чтобы переломить упорство этого самоуверенного псевдо-Иова, думающего, что Бог его оставил, в то время как он сам, человек, оставил Его.

Как показывают черновики романа (первый вариант, написанный от лица героя), «видение на Неве» Раскольникова поначалу впрямую выросло из воспоминания о пушкинской поэме:

«Я пошел потом по Сенатской площади. Тут всегда бывает ветер, особенно около памятника. Грустное и тяжелое место. Отчего на всем свете я никогда ничего не находил тоскливее и тяжелее вида этой огромной площади?» (Д30; 7: 34).

Замечательна перекличка с той цитатой из «Двойника», с которой мы начали статью: площадь Медного Всадника для Достоевского наполнена загадочно-сакральными воспоминаниями. Знаком и «ветер около памятника», напоминающий о стихии в пушкинской поэме, причине наводнения: «...силой ветров от залива / Перегражденная Нева / Обратно шла...» — 14. Этот природно-стихийный мотив Достоевским трактован символически («Двойник», «Преступление и наказание»). Ветер — перемещение воздуха в образовавшуюся пустоту. В окончательном тексте «Преступления и наказания» остались лишь отголоски мотива в виде повторяющегося «воздуху, воздуху» (Д30; 6: 264, 336).

Еще один раз вернется Достоевский к идущей от Пушкина метафизической мифологеме Петербурга. «Видение на Неве» посетит другого Аркадия — Аркадия Макаровича Долгорукого в «Подростке» — накануне решающих испытаний в его жизни. Тема грезы, фантазии, сна приобретает здесь особую

болезненную остроту (как и весь роман в творчестве Достоевского, русская версия «Утраченных иллюзий» Бальзака) и вновь с роковой почти неотвратимостью возвращает нас к «Медному всаднику»:

«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымет с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» (Д30; 13: 113).

Аркадий Макарович повторяет картину, привидевшуюся его тезке из «Слабого сердца»: город, создание Петра, поднимается, искуряется дымом или туманом (напомним, что в «Преступлении и наказании» фантомным движением захвачен сам герой, что заставляет задуматься о сущностном отличии его от двух Аркадиев). Медный Всадник на «загнанном коне» (мотив, намеченный еще в «Слабом сердце» и развитый в «Преступлении и наказании») — своеобразное продолжение жизни пушкинского образа в новом историческом и художественном пространстве, нарочито антитетичное: у Пушкина Всадник сходит со своего пьедестала, у Достоевского сходит на нет созданный им город, а Тот остается неколебим несмотря ни на что. Эта неколебимость соединяется с «загнанностью» коня, уже смертельно уставшего (у Пушкина такой оттенок отсутствует).

Достоевский понимал теперь поэму как символическое изображение затянувшегося петровского периода русской истории. Когда писался «Подросток», автор его иначе, нежели Пушкин, и нежели сам он в 40-е годы, относился к Петру, к петровским реформам и к новой столице, что порождало прямой спор с автором «Медного всадника», исключительно редкий у Достоевского. По поводу знаменитого «Люблю тебя, Петра творенье» он чуть позднее оговаривается: «Виноват, не люблю его. Окна, дырья — и монумент» (Д30; 27: 62). Окно — дыра — пустое место, куда дует ветер, — так трансформируется у Достоевского пушкинский образ «в Европу прорубил окно»⁵, в полном соответствии с легендарным пророчеством: «Быть Петербургу пусту!». За историческим, однако, он, как

и раньше, вновь прочитывал метафизическое: иллюзорность человеческого мира, оставшегося наедине с «кумиром», то есть в конечном счете с самим собою.

Можно с уверенностью утверждать, что Достоевский на протяжении творческой жизни *дописывал* поэму Пушкина «Медный всадник», вводя ее в новый исторический и литературный контекст. Это не было перекраиванием с целью самоутверждения новейшего автора. Достоевский шел путем проращивания имеющихся зерен, раскрытия потенциально-го смысла прототекста. Не исключая возможность сознательной установки на цитатность, мы всё же склоняемся к признанию фактора «генетической памяти литературы», акцентированного в поздних работах С. Г. Бочарова, опиравшегося, в свою очередь, на изыскания А. Л. Бема о «власти литературных припоминаний» [Бем: 104]. «Творческий анамнезис, — утверждал ученый, — был его <Достоевского> писательским методом» [Бочаров: 12].

Примечания

- ¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 1. С. 142. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения *ДЗ0* и указанием тома, страницы в круглых скобках.
- ² Пушкин А. С. Медный всадник / изд. подгот. Н. В. Измайлов. Л.: Наука, 1978. С. 18. (серия «Литературные памятники»). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
- ³ При сопоставлении «Медного всадника» с произведениями Достоевского 1840-х гг. мы учитываем то обстоятельство, что текст поэмы печатался тогда в искаженном виде. Достоевский мог знать и подлинный, не отредактированный Жуковским текст, как его знали современники писателя [Осват, Тименчик: 28–29, 40–41, 69–70, 79–80], в частности он мог слышать о нем от Белинского. Но поскольку таковое утверждение может претендовать лишь на предположительность, следует учитывать и возможность использования Достоевским в 40-е гг. цензурного варианта. В этом случае следует признать, что основная идея поэмы пробивала-таки дорогу через цензурные искажения и не была совсем уж закрыта для читателей первой половины XIX в. (в 1857 г. в VII дополнительном томе издания Пушкина П. В. Анненков привел почти все строки, вычеркнутые или искаженные Жуковским).
- ⁴ Комментаторы верно указывают на цитату из «Моцарта и Сальери» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: в 35 т. 2-е изд., испр.

и доп. СПб.: Наука, 2013. Т. 1. С. 743), что, на наш взгляд, не исключает «теневого» аллюзии и на Фальконетов монумент («раздавить змею»).

- ⁵ Очевидно, в этом же ключе следует понимать и запись 1876 года: «“Медный всадник”. Все-таки неправда» (Д30; 23: 191), оставленную без комментария в академическом издании Достоевского.

Список литературы

1. Анненский И. Книги отражений. — М.: Наука, 1979. — 679 с.
2. Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. — Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. — 84 с.
3. Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе / сост. С. Г. Бочарова, предисл. и коммент. С. Г. Бочарова и И. З. Сураг. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 448 с.
4. Блок А. А. Записные книжки: 1901–1920. — М.: Худож. лит., 1965. — 686 с.
5. Бочаров С. Генетическая память литературы. — М.: РГГУ, 2012. — 343 с.
6. Викторovich В. А. Под знаком Иова // Болдинские чтения 2018. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. — С. 14–21.
7. Викторovich В. А. Путь русской литературы от Пушкина к Достоевскому // Достоевский и мировая культура: Филологический журнал. — 2018. — № 1. — С. 12–20.
8. Дилакторская О. Г. Петербургская повесть Достоевского. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — 345 с.
9. Долинин А. А. Кто же сказал «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя»? // Русская литература. — 2018. — № 3. — С. 163–170.
10. Дрыжакова Е. Феномен Голядкина: откуда и куда // Дрыжакова Е. По живым следам Достоевского: факты и размышления. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — С. 29–49.
11. Евнин Ф. Об одной историко-литературной легенде (повесть Достоевского «Двойник») // Русская литература. — 1965. — № 3. — С. 3–26.
12. Захаров В. Н. Трагедия Голядкина (О повести Ф. М. Достоевского «Двойник. Петербургская поэма») // О традициях и новаторстве в литературе: межвуз. науч. сб. — Уфа: [б. и.], 1976. — С. 117–127.
13. Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. — 209 с.
14. Захаров В. Н. Библиейский архетип «Двойника» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1990. — Вып. 1. — С. 100–104 [Электронный ресурс]. — URL: <http://poetica.pro/journal/article.php?id=2347> (18.02.2019). DOI: 10.15393/j9.art.1990.2347
15. Захаров В. Н. Загадка «Двойника» // Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. — М.: Индрик, 2013. — С. 88–133.
16. Лескис Г. А. Пушкинский путь в русской литературе. — М.: Худож. лит., 1993. — 526 с.
17. Миллер О. Ф. Русские писатели после Гоголя: чтения, речи и статьи: в 2 ч. — 4-е изд., испр. и доп. — СПб.: Н. П. Карбасников, 1890. — Ч. 1: И. С. Тургенев; Ф. М. Достоевский. — 530 с.

18. Михновец Н. Г. «Двойник» в историко-литературной перспективе // Достоевский и мировая культура. Альманах № 20. — СПб.; М.: Серебряный век, 2004. — С. 105–131.
19. Немировский И. В. Библейская тема в «Медном Всаднике» // Русская литература. — 1990. — № 3. — С. 3–17.
20. Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...»: об авторе и читателях «Медного Всадника». — М.: Книга, 1985. — 303 с.
21. Платонов А. Мастерская. — М.: Советская Россия, 1977. — 144 с.
22. Тархов А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. — 1977. — № 2. — С. 62–64.
23. Федоров Г. А. Петербург «Двойника» // Федоров Г. А. Московский мир Достоевского. Из истории русской художественной культуры XX века. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — С. 194–210.

Vladimir A. Viktorovich

*State Socio-Humanitarian University
(Kolomna, Russian Federation)*

VA_Viktorovich@mail.ru

“The Bronze Horseman” in the Works of F. M. Dostoevsky

Abstract. The article reveals the repercussions of Pushkin’s poem “The Bronze Horseman” in the works of F. M. Dostoevsky. In a St. Petersburg poem “The Double” the paraphrase is seen in the chronotope (November, St. Petersburg, a paving bollard), in the risk of inundation and the manifestation of extra personal power personalized by Dostoevsky in the double instead of the statue. Similar to Pushkin’s Eugene, Golyadkin challenges an oppressive power and gets through the catastrophe of madness. In contrast to Pushkin, in Dostoevsky’s poem the destruction comes from both a hostile world and from an ambitious personality of the hero. Dostoevsky interpreted Pushkin’s masterpiece as an existential subject about the abandon of man, who has doubts on the stability of the world existence, by the God. This motif manifests itself first in the “Poor Folk” and is developed later in “The Double”, “Mr. Prokharichin”, “A Weak Heart” where the fear of life and uncertainty leads to a catastrophe. A metaphysic meaning of the so called “seeing on Neva” is analyzed which goes from one Dostoevsky’s writing to another. Along with the mentioned ones, there are also “Petersburg Dreams in Verse and Prose”, “Crime and Punishment”, “A Raw Youth”. The Petersburg text of Dostoevsky is shaped due to “The Bronze Horseman” on the edge of symbolism related to the theme of the biblical Iyov and phantasmagoria of a ghost-town. The poem about Peter and Eugene became the part of the Pushkin code of Russian literature and got a chance to enhance a semantic capacity during the following epochs. Thus, Dostoevsky discloses

in the prototext more and more resources implementing them in his own writings. So, the hypothesis of A. L. Bem—S. G. Bocharov about the existence of a genetic memory of literature is confirmed.

Keywords: Pushkin, “The Bronze Horseman”, Dostoevsky, genesis of creative process, abandon of man by the God, metaphysics of the Petersburg text

About the author: *Viktorovich Vladimir A.* — Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian Language and Literature, State Socio-Humanitarian University (ul. Zelenaya 30, Kolomna, 140410, Russian Federation)

Received: March 14, 2019

Date of publication: October 18, 2019

For citation: Viktorovich V. A. “The Bronze Horseman” in the Works of F. M. Dostoevsky. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*, 2019, vol. 17, no. 4, pp. 107–122. DOI: 10.15393/j9.art.2019.6322 (In Russ.)

References

1. Annenskiy I. *Knigi otrazheniy [Books of Reflections]*. Moscow, Nauka Publ., 1979. 679 p. (In Russ.)
2. Antsiferov N. P. *Byl' i mif Peterburga [A True Story and a Myth of St. Petersburg]*. Petrograd, Brokgauz-Efron Publ., 1924. 84 p. (In Russ.)
3. Bem A. L. *Issledovaniya. Pis'ma o literature [Researches. Letters About Literature]*. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2001. 448 p. (In Russ.)
4. Blok A. A. *Zapisnye knizhki: 1901–1920 [Notebooks: 1901–1920]*. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1965. 686 p. (In Russ.)
5. Bocharov S. *Geneticheskaya pamyat' literatury [A Genetic Memory of Literature]*. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 2012. 343 p. (In Russ.)
6. Viktorovich V. A. Under the Sign of Iyov. In: *Boldinskie chteniya 2018 [The Boldin Readings, 2018]*. Nizhny Novgorod, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Publ., 2018, pp. 14–21. (In Russ.) (a)
7. Viktorovich V. A. The Way of Russian Literature from Pushkin to Dostoevsky. In: *Dostoevskiy i mirovaya kul'tura: Filologicheskii zhurnal [Dostoevsky and World Culture: Journal of Philology]*, 2018, no. 1, pp. 12–20. (In Russ.) (b)
8. Dilaktorskaya O. G. *Peterburgskaya povest' Dostoevskogo [The Petersburg Novel of Dostoevsky]*. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 1999. 345 p. (In Russ.)
9. Dolinin A. A. Who Said «We All Came out of “The Overcoat” by Gogol»? In: *Russkaya literatura*, 2018, no. 3, pp. 163–170. (In Russ.)
10. Dryzhakova E. The Phenomenon of Golyadkin: Where from and Where to? In: *Dryzhakova E. Po zhivym sledam Dostoevskogo: fakty i razmyshleniya [Dryzhakova E. In the True Footsteps of Dostoevsky: Facts and Reflections]*. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2008, pp. 29–49. (In Russ.)
11. Evnin F. About one Literary-historical Legend (Dostoevsky's Novel “The Double”). In: *Russkaya literatura*, 1965, no. 3, pp. 3–26. (In Russ.)

12. Zakharov V. N. The Tragedy of Golyadkin (About the Novel by F. M. Dostoevsky “The Double. The Petersburg Poem”). In: *O traditsiyakh i novatorstve v literature [About Traditions and Innovation in Literature]*. Ufa, 1976, pp. 117–127. (In Russ.)
13. Zakharov V. N. *Sistema zhanrov Dostoevskogo: tipologiya i poetika [The System of Genres of Dostoevsky: Typology and Poetics]*. Leningrad, Pushkin Leningrad State University Publ., 1985. 209 p. (In Russ.)
14. Zakharov V. N. The Biblical Archetype of Dostoevsky’s The Double. In: *Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]*. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1990, issue 1, pp. 100–104. Available at: <http://poetica.pro/journal/article.php?id=2347> (accessed on February 18, 2019). DOI: 10.15393/j9.art.1990.2347 (In Russ.)
15. Zakharov V. N. The Mystery of “The Double”. In: *Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [Zakharov V. N. The Author’s Name is Dostoevsky. An Essay on Creative Works]*. Moscow, Indrik Publ., 2013, pp. 88–133. (In Russ.)
16. Lesskis G. A. *Pushkinskiy put’ v russkoy literature [Pushkin’s Way in Russian Literature]*. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1993. 526 p. (In Russ.)
17. Miller O. F. *Russkie pisateli posle Gogolya: chteniya, rechi i stat’i: v 2 chastyakh [Russian Writers After Gogol: Readings, Speeches and Articles: in 2 Parts]*. St. Petersburg, N. P. Karbasnikov Publ., 1890, part 1. 530 p. (In Russ.)
18. Mikhnovets N. G. “The Double” in a Historical and Literary Perspective. In: *Dostoevskiy i mirovaya kul’tura. Al’manakh № 20 [Dostoevsky and World Culture. Almanac No. 20]*. St. Petersburg, Moscow, Serebryanyy vek Publ., 2004, pp. 105–131. (In Russ.)
19. Nemirovskiy I. V. A Biblical Theme in “The Bronze Horseman”. In: *Russkaya literatura*, 1990, no. 3, pp. 3–17. (In Russ.)
20. Ospovat A. L., Timenchik R. D. «Pechal’nu povest’ sokhranit’...»: ob avtore i chitatel’yakh «Mednogo Vsadnika» [“Saviong a Sad Story ...”: About the Author and Readers of “The Bronze Horseman”]. Moscow, Kniga Publ., 1985. 303 p. (In Russ.)
21. Platonov A. *Masterskaya [A Workroom]*. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1977. 144 p. (In Russ.)
22. Tarkhov A. The Short Novel of Petersburg Iyov. In: *Nauka i religiya*, 1977, no. 2, pp. 62–64. (In Russ.)
23. Fedorov G. A. The Petersburg of “The Double”. In: *Fedorov G. A. Moskovskiy mir Dostoevskogo. Iz istorii russkoy khudozhestvennoy kul’tury XX veka [Fedorov G. A. The Moscow World of Dostoevsky. From the History of Russian Art Culture of the 20th Century]*. Moscow, Yazyki slavyanskoj kul’tury Publ., 2004, pp. 194–210. (In Russ.)